

Первые же строки этой подборки отсылают нас к понятию «Сфумато» (название цикла), к воздушной дымке, к перетекающим потокам воздуха, чуть размывающим написанную художником картину, расширяя, можно сказать, – пейзаж, время. Это свойство стихов поэта Марины Гарбер – они содержательны в конкретике фактов и событий, но, словно, плывут над этой конкретикой, пронизывая всеохватной картиной времени и пространства дыхание поэтического слова, наполняя его глубиной поэтической мысли. А дыхание у Гарбер долгое, свободное, нарастающее в своей экспрессии. При всём том, движение авторской мысли непредсказуемое, непросчитываемое, неожиданное. Каждый раз – это резкий эмоциональный удар.

Д.Ч.

СФУМАТО

ЭЛЕГИЯ

1.

Я так из кожи лезла, чтобы свет
шёл по кривой, автобус обогнув,
просвечивал прохожих и летящих,
за провода цеплялся и в кювет
с моста нырял, где ветер-стеклодув
его объёмил, ширил, настояшил.

2.

Я знала всю округу наперёд,
предсказывала жизнь из года в год,
жила на глаз, на ощупь, понаслышке,
кого учтя, кого держа в уме,

предчувствовала, если пешеход
сейчас свернёт за угол, он умрёт,
прожив на свете две коротких вспышки,
покуда был с балкона виден мне.

3.

Микрорайону, в общем, повезло,
ведь я, зимы фривольное дитя,
могла наврать направо и налево:
аптечный короб, мутное стекло
витрины в мелкой вышивке дождя,
многоэтажки ледяное тело
и всё, что там копилось и росло
лишь потому, что я того хотела.

4.

Я выдумала хлебный, овощной,
детсад, сбербанк с пустующей мошной,
поломанные ящики похмелья,
рябь домино на дворовом столе,
и тёти Оли выговор ночной,
сорвавший премиальное веселье,
устроенное Гришкой сомелье.

5.

Кто в воду канули – те наяву теперь:
бормочут, на ночь запирают дверь,
лелеют сны о стародавнем, вдаль
вперяются, не церемонясь с ближним.
Да кто же им позволит умереть?
Ребёнок видит каждую деталь,
но так всецело окольцован жизнью,
что в дальний угол задвигает смерть.

6.

По центру – сторожиха-чёрный-глаз,
из тех, что если б жизнь не сорвалась,
позировала Сурикову, снег бы
шёл и картинно голубел окрест,
по радио гремел московский час,
и нам грозивший дворничихин перст
указывал в расколотое небо.

7.

Представь, что если б не было меня,
а был, положим, правильный художник,
он выдумал бы слишком хорошо,
законопатил дыры, сгладил доски...

И ты, чужих красотой заложник,
минуя розвальни, юродивых, коня,
по скошенным снегам ко мне не шёл,
не окликал бы, красный свет кляня,
с той стороны глухого перекрёстка.

* * *

Даже во сне прясть, подниматься рано,
Бог подаёт, как говорит реклама,
тем, кто встаёт, в темень наводит резкость,
чтобы увидеть коврик под занавеской,
тапочки, кресло, шкаф с пустотой шершавой,
где в зазеркалье лево уводит вправо,
слышать Льеле¹, барореле повтора.
Скоро ли выдох? Скоро, родная, скоро.

Кафельный пол, холод ползёт из ванной,
кто это, гол, гладко, стеклянно, странно
смотрит насквозь, как говорится, в оба:
где твой чулок, Пеппи, бишь Пенелопа?
Жизнь напоказ – бледен её товарец!
Снова и снова будет проколот палец,
вкатится в комнату – благо, окно открыто –
олово облака, яблоко ядовито.

Нет ничего такого, чего б не ждали,
клёны оплыли, свечи в саду опали,
и ожидание, малость его да милость,
в петлю продето, сгладилось, округлилось.
Это конец – эпохи, любви, романа,
чайный пунктир, прочерк на дне стакана,
кончились нитки, руки, глаза и даже
вся в узелках отточий живая пряжа.

Видеть того, кто, растворившись в кресле,
тщетно просил дождаться его. Но если
пряжа чему-то всё-таки научилась,
так заменять сущность вещей на мнимость,
на повторение пройденного по кругу,

¹ Льеле — город в Люксембурге

след уместная в след на воде, друг к другу
выйти посметь цепким путём ошибок:
жизнь – это вдох, а смерть – это выдох, выдох...

* * *

Обрубок вяза выпятил культю
и милостыню просит у прохожих, –
затасканный приём, но это тоже –
сопротивление небытию.

Кузнечик ищет запонку в траве,
заламывая лапки, не находит,
и мысль о смысле или что-то вроде
цветёт в инопланетной голове.

Выныривает крыши поплавок
из медленной реки, движимой ленью,
и каждый всплеск – попытка противления
не то, чтоб злу, но около того.

По щиколотки в неживой воде
кружит афиша местного балета,
не потому, что с ней не нужно света, –
ей попросту сподручней в темноте.

А ты стоишь, беззвучно горюдя
святую чушь, как школьник по бумажке,
и смотришь на фасад пятиэтажки
в цитатах из вчерашнего дождя.

В затёртом и привычном только не
банальный ум способен разобраться,
и со звездой над роем домочадцев
сравнить слепую лампочку в окне.

Ты так давно боишься этих слов,
настольных, запрещённых, перепетых,
что речь тебя уводит от ответа,
как в ночь дитя уводит крысолов.

Афиша, звёзды, вяз, кузнечик – всё
туфта, химера, пыль в каменоломне –
развееся. Но тот, кто их запомнил,
уже спасён.

В конюшне тихий вызревает ропот,
крепчает в бочке крымское вино,
в звезде – дешёвой лампочки накал,
и просится некстати слово «кобальт»,
опрятное, бальзамовое, но
стишок горяч, да холоден металл.

В коробке спят бумажные пистоны,
чтоб по весне выстреливать о бровку,
асфальтную взъерошивая бровь
стараниями мальчиков картонных, –
я помню их, и просится – а толку? –
дурная рифма, детская любовь.

Я лучше буду слушать воробьиный,
у главпочтамта, мэрии и ЖЭКа
раскрошенный по городу галдёж,
ловить частоты высохшей осины,
попавшей под животворящий дождь
в отсутствие живого человека.

Поверишь ли, я думала о тех,
безвольных, обезличенных, пропащих,
вниз прораставших, безоглядно вдаль,
о том, как в шквале радиопомех
жизнь умещалась в стеклотарный ящик,
да и была ль?

Но если я хоть что-то приняла
от нищеты, от ширины плацкартной,
то лишь одно: утрись и заплати
за дом, за слом – под корень и дотла,
не хнычь, талдычь и, чтоб тебе неладно,
назад иди –

досматривать предательские игры,
медовые, как манна тамариска,
любовные, лоб в лоб, взасос, под дых.
Дождь зачастил, размазывая титры, –
читай, пока не вычеркнут из списка
ещё живых.

Листаешь перелеска белый томик,
написанный ледышкой на окне,
прислушаешься, как силлаботоник,
точнее, ветер девочке-зиме
читает о Елене, о коне
троянском, – он поэт, но только что ни
говорил бы, истина – во мне.
С меня, «такой живой и настоящей»,
всё началось и завершится мной,
уймётся, допоёт, сыграет в ящик.
О, не жалея прощённых и пропащих,
мы – кровь земли, мы – соль и перегной.
Смотри, как на крючке остывший плащик
вобрал изгиб, оставленный спиной.

На полках книги по команде «вольно»
рассыпаны – какой здесь правит бес? –
чуть покачнутся – им наперерез
настойной лампы свет, но я и без
луча косога знанием довольна,
точнее, зрением, что тянется окольно
к зиме, – и мне не страшно и не больно
смотреть на снегом перебитый лес.
Как выплывает месяц из тумана,
выхватывая мельничную ось,
чтоб высветить на лицевой экрана
учеников Фернана Магеллана:
дрейфующую слепо, на авось,
плывущего легко, *all'italiana* –
так, будто море в венах разлилось.

Не колыбель, не баюшки-баю –
наш кавардак, – таким вот словом резким
порой зову кораблик на краю,
порой тебя люблю, когда свою
протягиваешь руку в жесте веском,
порой в густом сфумато перелеска
я нас по очертаньям узнаю.
А истина проста на самом деле,
есть двух деревьев ледяной урок:
лицом к лицу в сугробе стынут ели,

бишь мореходы в белом на дуэли,
и тот, что слева, насмотреться впрок
на свет не может и кренился вбок,
а тот, что справа, держит на прицеле
и взводит апатический курок.

* * *

Господь, как море, медленно красив,
торжественен, ленив, неповоротлив,
степенен – так сгущается прилив
вдоль берегов ближайшей подворотни.

Себе неравнозначен, бой морской
кипит на пирсе, свищет за таверной,
то набежит божественной тоской,
то покачнётся мачтой корабельной.

Велик и мал, король и королёк,
он – вещи смысл и вся в себе вещица,
он – аргонавт, стучащийся в ларёк,
и запершая двери продавщица.

Пока она со связкою в руке
обходит неказистые владения,
Бог – выручка в набухшем кошельке
и высота её грехопадения.

У юнги на сегодня сорвалось,
обещан ламантине скучный вечер,
сейчас они потопчутся и врозь
отправятся – до неизбежной встречи.

Бог раздроблён, как мёртвое драже,
размётанное у кормушек птичьих,
тяжёл, как дом, который строил Джек, –
за футом фут, кирпичик на кирпичик.

Теперь он спит и видит сладкий сон,
мёд на губах, меж рёбер – канарейка,
и в игровой тележка и вагон
ждут моряков, как смерть на батарейках.

Кем быть – ему, по сути, всё равно,
за нашу бытность кем он только не был,
то на седьмое поднимался дно,
то погружался на глухое небо.

Бессмертником взойдёт и анашой,
убьёт, спасёт, залечит в сердце ранку.
Спи, мой малыш, дыши, расти большой –
лицом к рассвету, сердцем наизнанку.

* * *

Наша певчая родина – безголоса,
но, как мёртвая, сраму не имеет, ведь
на смешки невзирая, на взгляды косо,
на свои обещания ввек и впредь
не трепать окраины и кордоны,
не тревожить рыбок, поправших сеть,
ежедневно с понурым аккордеоном
выходила на пристань – петь.

Наша родина – целый оркестрик звучный,
вытрясала медь, выбивала звон,
в оркестровой яме держа сподручно
балалайку, ложки, аккордеон,
дождалась рассветного часа, знака,
чтобы грянуть музыкой – наповал,
и какой-нибудь озорной гуляка
обязательно родине подпевал.

Кто стыдился пошленьких «трали-вали»,
отводил от гиблых подмостков взгляд,
где огни за речкою догорали
и в который раз погибал отряд,
и пока за горло слеза держала,
из толпы блатарь подъезжал на ты:
так чего, пижон, тебе не хватало,
красоты, изнеженный, чистоты?

Под конец разборок и катавасий,
распустив портовых, очистив пляж,
наша родина – не Орфей, не Марсий,

а другой мифический персонаж –
уходила, бросая гроши на ветер,
подбирая палённой соломы прядь:
отплывающим нечего ей ответить,
провожающим некуда отступить.

Но когда ветерок, раскачав качели,
разойдётся, гонял голубей в порту,
в перекурах пижоны в котельных пели
не о пьяной родине на ветру –
о заморских странах и какаду,
о далеком, – покуда на самом деле,
как в жаровне, звуки её свирели
угольками вспыхивали во рту.

* * *

Он подступает к яблоне близко-близко,
взмахам её растерянным потакая,
будто она – турецкая одалиска,
девка нагая.

Прочь разгоняет кордебалет мушиный,
пчёл за работой и муравьёв на марше.
Трогает стёкла, гладит капот машины,
движется дальше:

ниже – на цыпочках и озираясь, словно
остерегаясь ступы, метлы, петуний,
выше – поправить на голове церковной
шляпу колдуньи.

То по-хозяйски, с мужественным терпением
старообрядца, раскольника, старовера
к бровке сметает газетные объявления,
скверну из сквера.

После свернёт за театральный угол,
сил наберётся, выплеснется на площадь
и горожан станет трепать, что кукол,
плющить, елозить.

Всех городских фонарей переклеит вкладыши,
в книжных проулках вынудит ждать погоды,
птиц – под карнизы втиснув, зевак – под ратуши
гулкие своды.

Копит, грозит: неба вкуси да выкуси!
Но, проходя сквозь ветряные пальцы,
не примыкай к толпе, не дыши, не двигайся,
не раскрывайся.

Кто спохватился, тот за себя в ответе,
и никаких поблажек или простоя,
хватится сердца – поздно, пустил на ветер, –
место пустое.

* * *

Оказалось, в раю из окон – созвон кастрюль
заглушают выкрики, радио, патефон,
то ли тень от клёна, то ли взаправду клён
прикрывает собой котов, воробьёв, бабуль –
всех кормимых и всех кормящих – со всех сторон.
Налетают центростремительно пацаны
на едва испечённый потрескавшийся пирог –
по привычке, поскольку мёртвому хлеб не впрок:
есть прапамять рук у голодных детей войны
и прапамять губ, по которым лишь мёд не тёк.

Ущипни меня, я не верю, что Мотька жив,
что стоит, улыбаясь, целится в голубей,
то прозрачные пальцы а-ля пистолет сложив,
то меча в пернатых невидимые ножи, –
а вообще он ласков, хоть бей его, хоть убей.
У него виски – темней берегов Днепра,
у него глаза – полней берегов Невы,
у него меж рёбер плывут косяки плотвы,
вот сейчас он объявит, лыбясь: «Иду на вы!» –
и пойдёт гонять – до вечера? до утра?
Здесь одна пора: не-сносить-тебе-головы.

Говорят, будто Бог любит белый: бинты, крахмал,
маскхалат, ангелок стерильнее медсестры...

Если Мотеле выдыхает в окно овал, –
на стекле распускаются сказочные цветы:
белокрылый лютик, стебель под ним – коралл.
День-деньской в раю такой снегопад – отпад,
вдоль дорог свернулось топлёное молоко,
чуть лизнёшь вершок мифическим языком –
и пойдут по воде кругами: роддом, детсад...
Мотыка смотрит так, будто в смерти снег виноват,
но в таких снегах лежать-не дышать – легко.

Я ищу на холсте зацепку, изъян, пятно,
Мотла мама зовёт – вот он, света ломоть в руке, –
и когда она затворит, наконец, окно,
то последний голубь взлетит, уходя в пике,
схлынет двор-колодец, урча и мелея... Но
жизнь сгущается – медной ложечкой в молоке,
на зубах песком, липкой мухой на пироге,
поплавок в воде, челноком по реке вверх дном, –
жизнь качается за ночной занавеской, где
жить темным-темно.

* * *

Говорил, что нет у него для меня земли,
есть язык воды, камыша и купавы речь,
хоть сто лет плыви-барахтайся, хоть умри, –
негде лечь.

Я, бывало, его наслушавшись, на спине
до Воздвиженского по Язуе вверх плыла,
и со мной караси заговаривали во сне
на земных наречиях – камня, огня, стекла.

И не зная, о чём и, главное, почему,
в голубой волне волнуясь, шепча приборй,
я жила по ихтиандровому уму –
под любовным пудом, тяжёлой, как стон, стопой.
У него акулий вдох-выдох, и снова вдох,
на боках волнорезно светятся плавники,
но лица не видно, – на то он и рыбий бог,
чтобы шито-крыто, безлико вокруг, ни зги.

Пресноводным чувством чуяла: пол дощат,
серебристы мыши, у пристани якоря,

и хрустальной прочих в распевке босых девчат
колокольчик-голос дочери корчмаря.
На кого молилась? Пряталась от кого?
Подступает берег, сколько себе ни ври.
Оказалось, не он мне, а я ему – божество,
вездесущий ветер, отчаянный слух земли.

И когда отпускал на волю под звон лиан,
замерев у подводной пропасти на краю,
повторял, будто он – прообраз мой, ихтиандр,
только я – земная – что слышу, то и пою:
как посёлок гаснет, последний рыбак затих,
закипает в речке траурный габардин, –
ведь летать над водой способен из нас двоих
лишь один.